VULTURE

FEB. 19, 2016

Dmitri Hvorostovsky's Star Power, Back at Full Strength at Carnegie Hall

By Justin Davidson



If a video-game designer were to fabricate an avatar for the perfect opera star, the male version might look and sound a lot like Dmitri Hvorostovsky. Dark of voice and pale of mane, the Russian baritone has the bearing of a man who has come to expect all the stomping ovations and proffered bouquets. These he acknowledges with a half-smile and a quick ballroom bow. He treats his job with the same nonchalant cool, dispensing tunes that fit him as snugly as those glittering suits. Whenever he's on an opera stage, a crackling aura forms around him so that tenor and soprano become supporting voices to his leonine purr. He summons his own spotlight.

Hvorostovsky had nobody to steal a scene from at his Carnegie Hall recital on Wednesday night, except for the loyal pianist Ivari Ilja. Not many singers can hold a stage alone and fill a hall with so much aplomb, and certainly not with a set of intimate, firelit Russian songs by Glinka, Rimsky-Korsakov, and Tchaikovsky. But Hvorostovsky is unique, a deadpan virtuoso in the Barnum-esque world of opera, who intimates depths of feeling that he's not quite willing to unveil. Can there be a song better suited to his temperament than Tchaikovsky's gorgeous "Amid the din of the ball"? A meditative minor-mode waltz melody hazes over the fact that the narrator isn't dancing, and neither is the enigmatic object of his attention, whose "pensiveness" and "sad yet merry laughter" bewitch him across a crowded room. I imagine that in the course of his career, more than a couple of audience members have fantasized that he would notice them from the stage.

Great singers break down into three rough categories that have nothing to do with voice types or casting: deluxe timbres (Jussi Björling, Luciano Pavarotti) who could holler nonsense and still melt hearts; intellectuals (Dietrich Fischer-Dieskau, Ian Bostridge) who weigh every note and phoneme; and high-octane emoters (Roberto Alagna) who overpower with generous helpings of passion. At his best, Hvorostovsky combines all three. He has a rich, barrel-aged voice that never breaks character even at the outer limits of his range, and he can light up an aria with controlled, deliberate intensity. At Carnegie Hall, he stayed away from extroverted operatic hits and sang instead of death and doubt and melancholy landscapes. In Rimsky-Korsakov's mournful "On the Hills of Georgia," he showed just how magically he can conjure a tragic hush.

And yet the evening had a festive quality, possibly for the same reason that Hvorostovsky sang with such affecting wistfulness: He has returned to the stage after undergoing treatment for a brain tumor. If I have buried this fact, it's because he doesn't need special circumstances to highlight the quality of his musicianship, and the illness has not affected his singing in any obvious ways (except, perhaps, as an incentive to keep the program short). His only non-Russian repertoire was four songs by Richard Strauss, including the exquisitely optimistic "Morgen" ("Tomorrow"): "The sun will shine again." He has his mind on a full future, and next season he is scheduled to sing *Eugene Onegin* at the Met.

Hvorostovsky ended the evening singing the folk melody "Nochen'ka" ("Sweet Night") a capella, a specialty of the great Feodor Chaliapin. It was as if he were telling the audience that a hectic life, spent amid scenery, costumes, colored lights, airplanes, hotel rooms — and, lately, hospitals, has made this utter simplicity possible: one voice, full of wood smoke and church bells, singing an old tune for a crowd of people who want nothing more.

Звёздная сила Дмитрия Хворостовского в полностью вернулась в Карнеги-холле

Джастин Дэвидсон

Если бы дизайнер видеоигр создал аватар идеальной оперной звезды, мужская версия могла бы выглядеть и звучать очень похоже на Дмитрия Хворостовского. Русский баритон с мрачным тёмным голосом и гривой седых волос обладает манерами человека, привычного к бурным овациям и букетам. Он принимает их с полуулыбкой и быстрым бальным поклоном. К своей работе он относится с таким же невозмутимым спокойствием, выдавая мелодии, подходящие ему так же хорошо, как эти блестящие костюмы. Всякий раз, когда он выходит на оперную сцену, вокруг него возникает особая атмосфера, так что тенора и сопрано становятся вспомогательными голосами к его львиному мурлыканью. Он приковывает к себе внимание.

В среду вечером во время сольного концерта на сцене Карнеги-холла Хворостовскому не с кем было соперничать кроме его верного пианиста Ивари Илия. Не многие певцы могут в одиночку держаться на сцене и заполнять зал с такой уверенностью, и уж точно не с набором глубоких, волнующих русских песен Глинки, Римского-Корсакова и Чайковского. Но Хворостовский уникален: серьёзный виртуоз в мире оперы в стиле Барнума, намекающий на глубины чувств, которые он не совсем готов раскрыть. Есть ли песня, более соответствующая его темпераменту, чем великолепная "Средь шумного бала" Чайковского? Медитативная минорная мелодия вальса отвлекает от того, что рассказчик не танцует, как и таинственный объект его внимания, чья "задумчивость" и "смех и грустный и звонкий " очаровывают его в переполненном зале. Думаю, за время его карьеры немало зрителей фантазировали, что он заметит их со сцены.

Великих певцов можно грубо разделить на три категории, не имеющие ничего общего с типом голоса или амплуа: роскошные тембры (Юсси Бьёрлинг, Лучано Паваротти), которые могут кричать бессмыслицу и всё равно растапливать сердца; интеллектуалы (Дитрих Фишер-Дискау, Иэн Бостридж), взвешивающие каждую ноту и звук; и высококачественные возбудители (Роберто Аланья), подавляющие щедрой порцией страсти. В своей лучшей форме Хворостовский сочетает все три качества. У него богатый, выдержанный, как вино, голос, никогда не выходящий из образа даже на пределе своего диапазона, и он может оживить арию с контролируемой, целенаправленной интенсивностью. В Карнеги-холле вместо экстравертных оперных хитов он пел о смерти, сомнениях и меланхоличных пейзажах. В траурной "На холмах Грузии" Римского-Корсакова он показал, как волшебно он может создать трагическую тишину.

И всё же вечер был праздничным, возможно, по той же причине, по которой Хворостовский пел с такой трогательной задумчивостью: он вернулся на сцену после лечения опухоли мозга. Если я и скрыл этот факт, то только потому, что ему не нужны особые обстоятельства, чтобы подчеркнуть качество его музыкальности, и болезнь не повлияла на его пение каким-либо очевидным образом (за исключением, возможно, стимула сократить программу). Его единственным нерусским репертуаром были четыре песни Рихарда Штрауса, в том числе изысканно оптимистичная "Морген" ("Завтра"): "Солнце снова засияет". У него большие планы на будущее, и в следующем сезоне он должен петь «Евгения Онегина» в Метрополитен.

Хворостовский закончил вечер исполнением народной мелодии "Ноченька" а capella, фирменного номера великого Фёдора Шаляпина. Он как будто говорил публике, что беспокойная жизнь среди декораций, костюмов, цветных огней, самолётов, гостиничных номеров, а в последнее время и больниц, сделала возможной эту абсолютную простоту: только голос, полный дыма и церковных колоколов, поёт старую мелодию для толпы людей, которым больше ничего не надо.

Перевод с английского Н. Тимофеева